

ЛАУРЕАТЫ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРЕМИЙ

Николай

КЛИМОНТОВИЧ

**Парадокс
о европейце**



ЭКСМО

МОСКВА

2015

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
К 49

В оформлении переплета использовано фото
из архива автора

Разработка серии А. Саукова, Ф. Барбышева

Иллюстрация на обложке Ф. Барбышева

Климонтович, Николай Юрьевич.

К 49 Парадокс о европейце : [сборник] / Николай
Климонтович. — Москва : Эксмо, 2015. — 352 с. —
(Лауреаты литературных премий).

ISBN 978-5-699-77887-4

Ни в одну историческую эпоху в России нельзя быть европейцем без последствий для собственного благополучия. Однако Йозеф Альбинович М. не робкого десятка свободолобец. Он — анархист и гедонист — отправляется строить Соединенные Штаты в Украину, а на дворе — тридцатые годы XX века и либеральными идеями вымощена дорога в ад. История Йозефа заканчивается печально, но «вечные европейцы» до сих пор не перестают появляться и прожектировать будущее. Не парадокс ли это?

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-699-77887-4

© Климонтович Н., текст, 2015
© Оформление. ООО «Издательство
«Эксмо», 2015

ОСТРОВИТЯНИН

Память — остров в океане забвения.

Суй Фуй Вын

Сегодня Фэй не придет.

Сегодня Фэй отправилась навестить родных, а это неблизкий путь. Нужно катером с нашего островка, носящего имя Кон-Вай, добраться до Кон-Чанг, Слоновьею острова, он называется так не потому, что на нем водятся слоны, но сам остров в плане — с большим животом и длинным хоботом. Там пересесть на паром, идущий на материк. И уже на берегу попасть на автобус, идущий пять-шесть часов вверх по горной извилистой дороге, потом пешком еще километров семь до ее родной деревни — и за два дня не обернешься...

Обычно мы устраивались прямо на циновке. И только потом выходили из бунгало на пляж. Коли прибой не сильный, подолгу лежали в воде у берега. А если волна была высокая, закапывались в мелкий белый песок, разгребая, как черепахи, верхний раскаленный слой, добираясь до влаги, которую хранит нижний слой песка на память о ночном приливе.

Как мы общались? Если бы мне задали этот вопрос, я затруднился бы ответить. По-английски она знала лишь несколько слов, среди них неожиданное в ее устах *sad*. По-русски и вовсе ни одного, даже *спасибо*, она ведь была не продавщица и не кассир-

ша, всего лишь *горничная*, но это для корректности, так домработниц в Москве нынче именуют *помощницами*. Фэй — простая уборщица, из деревенских. Она убирала в баре, потом у меня. Но мы понимали друг друга, и отлично ладили. Если она хотела близости, интересовалась: *бум-бум, папа?* Когда же бывала голодна, спрашивала: *папа, ням-ням?*

Конечно, я платил ей, но не больше, чем любой cleaner. Так что можно сказать, мы жили *по любви*, ну, по взаимной склонности, что мне было лестно: мне тогда было уже за пятьдесят, ей едва ли двадцать. Она, конечно, знала мое имя, но все-таки за глаза называла *пон чаа*, что на местном наречии означает «чужой», но чаще говорила просто *рус*. Только изредка она обращалась ко мне *Ко*, что казалось ей очень забавным — здешние жители, особенно жительницы, очень смешливы. Дело в том, что *кон* — это на их языке означает остров, но «*н*» не произносится. А уж воспроизвести *Николай* для нее было непреодолимо. Язык ее соплеменников односложен, как звук прибора: медленно и ритмично туда сюда. Это удобно.

Понятно, для простого сознания не имеющий имени предмет как бы не существует. Так что в известном смысле я, став островитянином, добился своего. Я переплыл *на другой берег* и стал не только безымянен, но как бы и невидим.

Когда-то мне хотелось сделаться *писателем*, и действительно удалось стать заурядным литератором. Я напечатал дюжину плохих рассказов, опубликовал одной книжкой три слабые повести и написал роман, который никто не хотел публиковать. Ско-

рее всего, это было справедливо. Как и многие мужчины моего поколения, я поздно повзрослел: мужская инфантильность культивировалась прежней властью, которая рухнула, когда мне было уже под сорок. Но к пятидесяти, что называется, я в себе разочаровался. Я понял, что, ежели Бог обделил тебя талантом, *писать* в расхожем смысле хуже, чем просто глупо, это безвкусно. А, потершись в литературских кругах, я проникся самым искренним отвращением к собратьям по перу. Это были невпопад начитанные незамысловатые люди из разночинцев, в мятых штанах и никогда не чищенных ботинках, обладавшие самыми посредственными творческими возможностями и, чаще всего, непомерным тщеславием. Стихотворцы тоже были щеконадувными, особенно лауреаты, члены жюри и сидельцы в президиумах. Нет, надувные бывают матрасы, в данном случае следует сказать, наверное, *щеконадувательные*. Позже стали приезжать с гастролями поэты — эмигранты третьей волны, выпускники советских школ. Я слушал двоих: один был энтомолог из Торонто, другой маммолог из Бостона, один изначально из Ленинграда, другой из Киева. У обоих ради размера в стихах то и дело мелькало словечко *вот*.

Конечно, попадались мне на пути и люди, несомненно одаренные, но те всегда были в тени, держались тихо, их оттирали подчас виртуозно, обносили с улыбочками, да и они бывали не истинно создателями, открывателями новых путей, а довольствовались хоженными тропами. Пожалуй, действительно оригинальными среди пишущих бывали поэты, я знал двух таких. Оба, увы, были инвалиды, припадали на все ноги, детский рахит, кажется, люди

болезненные, и с возрастом их стихи приобретали черты неведомых шедевров. Оба вызывали скорее жалость, чем восхищение, хоть и было понятно, что места в будущих антологиях им обеспечены.

Почему я начал сочинительство.

Ответа нет. Конечно, был внутренний толчок, медленно нарастал зуд и жар, я вдруг почувствовал *призвание*, услышал *голос*, зов *оттуда*. Но, скорее всего, это была лишь слуховая галлюцинация. Болезнь, столь распространенная в нашей стране. Стране насквозь литературной, все читающей да пишущей, но не работающей. А ведь в нашей безотрадной и холодной, некрасивой и недужной, непомерно большой и малонаселенной сравнительно с огромными пустыми пространствами, дурно управляемой, непластичной и немзыкальной отчизне, работы непочатый край. Нет, не отчизне — родине, бабский род, как подмечал еще Василий Васильевич, больше нам к лицу... Ну, и среда конечно, и багаж прочитанных книг.

Теперь было время припомнить, на скольких островах я побывал, прежде чем оказаться на этом.

Лет в пятнадцать, в театре я посетил дивный волшебный остров зловредной феи Сикораксы, но прежде в раннем детстве, с голоса бабушки, гостил на острове Буяне, потом самостоятельно добрался до Баратарии, доставшемся Санчо в губернаторство по дешевке, а там с Панургом достиг Острова Оракула Божественной Бутылки. Заглянул и на Принцезы острова, куда английская королевская династия ссылала не в меру прытких своих родственников. Побывал на острове Отчаяния, где я,

прилежный книгочей, делил тяготы с мистером Крузо и его печальным попугаем, все повторявшим *Робин, Робин, бедный Робин*; и на летающей Лапуге и, конечно, на Острове Сокровищ. Как-то я валялся с ангиной, и отец — едва ли не единственный подобный случай — читал мне вслух о таинственном острове Табор в Тихом океане, среди которого я сейчас и затерялся; этот остров упавшие на него с неба французы обозвали в честь Линкольна, поскольку в их компанию затесался освобожденный от рабства негр — в те времена было модно вызволять из неволи негров. Позже я посетил Итаку, где нас с Одиссеем ждала верная Пенелопа в окружении настырных женихов; с Архимедом на Сицилии, своей вулканической неудержимостью древним напоминавшей ад и сделавший для Гете образ Италии завершенным, искал точку опоры; доплыл и до Пасхи, ведомый капитаном Кон-Тики. Добрался на перекладных до Сахалина с Антоном Павловичем, которому, впрочем, слаще оказался Цейлон; и томился на острове Святой Елены тоже с островитянином, корсиканцем, это уж не без помощи Тарле и Манфреда; и на Мадагаскаре побывал с авантюристом екатерининских времен Морисом; с автором *Блохи* живал с островитянами в гостях у бриттов; а там погостил и на Капри у Алексея Максимовича, разминувшись, слава богу, с человеком, которому мое поколение было обязано счастливым октябрятским детством, — ни в пионерии, ни в комсомоле я никогда не состоял. В студенческие годы прощался с Матёрой да шлялся по Аптекарьскому острову в компании одного одаренного и пьющего питерского сочинителя, давно перебравшегося в Москву

путем счастливого брака. Но только уже в относительно зрелом возрасте, достигнув Патмоса, я забыл все прочие острова и принялся то и дело туда возвращаться.

Впрочем, я вовсе не был книжным домашним мальчиком. Как все, гонял мяч во дворе, ухлестывал за девочками, с дружками пил из горлышка дрянное вино по подворотням, доплавался в четырнадцать до третьего взрослого разряда, ходил в горы, бегал на лыжах. Я был живым, ловким, физически развитым парнем, при этом весьма общительным, всегда в кружке дружков, да и дамский пол рано стал меня привечать. И то, что я начал писать, вообще говоря, не так-то просто объяснить.

В шесть, едва бабушка, читавшая мне вслух Гауфа по оригиналу, по ходу чтения перевода, закрыла книжку, я потребовал бумагу и карандаш, заявив, что сейчас сам буду сочинять сказку, — грамоте был обучен с пяти. С тринадцати писал чуть не всякий день: накарябаю каракулями в школьной тетрадке рассказ, и, лишь поставив точку, отправлюсь гулять с девками. И никто меня не учил самодисциплине — графоманское прилежание оказалось врожденным.

Первым ценителем моих ранних опытов стал мой учитель литературы из математической *спецшколы*, куда меня, ставшего несносным от бурсацкой скуки, по слезной просьбе руководительницы класса в школе районной, перевел отец. Я написал обязательное школьное сочинение на тему *Моя любимая книга* про *Мусорный ветер* Платонова, рассказ по тем временам с аллюзиями, тогда этого автора

только стали переиздавать. И учитель, вдохновленный и восторженный идеалист, тогда еще бывали такие учителя, позвонил моей матери со счастливым сообщением, что, мол, *ваш сын будет писать*. Кажется, это был педагогический промах, не нужно пробуждать в незрелых подростках убежденность в их талантах и будущности. Впрочем, моя матушка-полячка, женщина эгоистическая и трезвомыслящая, к этому сообщению отнеслась с прохладцей, тогда как батюшка, физик-теоретик и профессор, хоть и мечтал видеть сына, победно шествующим по естественно-научному пути, отнесся к делу серьезно и торжественно передал мне в окончательное пользование портативную пишущую машинку Mercedes. Но позже все-таки определил на физический факультет университета: на гуманитарный факультет меня не взяли бы как раз ввиду нечленства в комсомолии.

В студенческие годы я много ездил и в путешествиях этих побывал уже воочию на многих островах. На Валааме и на Кижях, а уж *остров Крым* был исхожен и обжит. В бытность мою литератором я жил на Готланде и на Корфу. Как-то летел на самолете местных линий из Афин на Родос над Эгейским морем. Внизу были тысячи островков, но лишь на немногих — козьи тропы, на остальных, скорее всего, не было воды. Говорят, греки готовы такие острова продавать за один евро. Потому, коли найдется энтузиаст и доброхот, освоит, окультурит, будет платить за привозную воду, то все будут только рады. Но, видно, такие редко находятся.

На Родосе я как-то сел на первый попавшийся катерок, недолго мы стояли на островке, где жи-

вут нырлящики, добывающие пемзу. А сошел я на каком-то безымянном для меня острове, где был небольшой греческий монастырь — быть может, с византийских времен. Чернобородый мрачный монах угостил меня горячим пышным хлебом монастырской выпечки, в благодарность я купил втридорога в местной лавке диск с византийскими церковными песнопениями. Это была пугающе суровая музыка, исполняемая мужским хором а *capella*, рядом с которой наши русские церковные распевы могут показаться утренним щебетанием птиц...

Слушая эту музыку молитв и послушания, я тогда еще возмечтал бросить все, остаться, уйти в монахи. Так иногда, идя по Амстердаму или Брюгге вдруг останавливаешься и начинаешь прикидывать, за каким окном вот этого дома фасадом на канал ты хотел бы жить. Но тогда мои мечтания остаться на острове в Эгейском море были, конечно, столь же беспочвенны.

Физику я возненавидел страстно.

На меня нагоняли страшную тоску осциллографы, приводили в отчаяние спектрометры, легкую панику вызывала даже простая динамо-машина, и заставляли отчего-то негодовать блестящие металлические шары, с помощью которых иллюстрировался закон Кулона для статического электричества. Дело сглаживала лишь пригожая молоденькая крепко сбитая лаборантка, верховодившая всей этой приборной нечистью, и вот с ее-то устройством мне было легко и бодро управляться.

Причина этой устойчивой неприязни к занятиям экспериментальной физикой, по-видимому, за-

ключалась не только в том, что занятия эти ощущались мною как принудительные, но само обращение с этим простеньким на деле оборудованием требовало терпения и аккуратности, то есть скучного занудства, так противоречившего в те весенние годы моему выходившему из берегов темпераменту. Впрочем, впоследствии, в будущих своих случайных и необязательных занятиях я, кажется, научился-таки известным зачаткам прилежания. Так что, возможно, дело было и в чем-то другом, не внешнем, но глубинном, смутно мною ощущаемом.

Теперь, пребывая в земном раю и размышляя о том, что же меня подсознательно так отвращало от занятий физикой, полагаю, что дело было в поползновениях этой науки разъять Божий мир. Вряд ли уже в юности я задумывался о самонадеянности, порождающей подобные намерения. Но никогда не смог бы стать адептом этой сомнительной отрасли знаний, целиком построенной на допущениях. И, соответственно, о полной их бессмысленности. Здесь к месту вспомнить *von mot* едкого Тютчева, сравнившего ученых с дикарями, которые *жадно набрасываются на вещи, выброшенные к ним кораблекрушением*.

Мне и сейчас смешны усилия, на которые потрачены тысячи бесплодных лет, а в наши дни — миллиарды денег, для того, скажем, чтобы обнаружить мельчайший кирпичик материи, не даром же, от отчаяния, наверное, эту гипотетическую частицу некогда называли *кварк*, позаимствовав словцо из сюрреалистических *Поминок по Финнегану*. Потом, уже в наши дни, всплыл некий *бозон*, что в физику лишь добавило неразберихи. Столь же смехотвор-